

АНДРЕЙ АРЬЕВ

ДОЛГОТА ДНЯ

Стиль этого произведения автор определяет как пейзажно-иронический. Он восходит скорее к Вагинову, чем к Бунину. Автор не идентифицирует себя с персонажами, будь они взяты порознь или вкуче. Исключено, однако, и то, чтобы роль прототипов отводилась его знакомым. К сожалению, не является текст и какой-либо из ипостасей создателя.

Короче говоря, в дальнейшем повествовании нет ни одного слова правды, но и ни одного — лжи.

I.IO.I969.

P.S. Подлежащее второго предложения грамматически относится к слову "автор", а семантически к слову "стиль".

И не живу, и, кажется, живу.

(О.Мандельштам)

I

Он проснулся, ничего не чувствуя, — только тяжесть в ногах от сползающего на пол одеяла. За мутными стеклами избы, за чадающей полосой дождя белеет рассвет. Поджимая пальцы и ежась, Семен опускает ноги с кушетки. Доски пола, с которого давно сошла краска, чисто вымыты, и между ними влажно чернеют щели. Восиком, в обвисших сатиновых трусах, Семен подходит к низкому окну и распахивает форточку. Шум дождя, похожий на шипение масла на сковородке, врывается в комнату, но тут же отступает, остается в палисаднике.

Семен зажигает настольную лампу и привычно слегка удивляется, что она зажглась — здесь, в деревне, такая городская, миниатюрная, под легким металлическим колпаком. Она напоминает о родительской квартире в Ленинграде, об одиноких без одиночества часах после полуночи, когда мать, сестра и отец спят где-то рядом за тонкими стенами его комнаты, и неосуществимый сквозняк тихо шевелит блеклые шторы на окнах.

От лампы в углах комнаты и за окном темнеет, а над маслянистой поверхностью покрытого клеенкой стола мерцает конус света. В янтарной его прозрачности на самом дне лежат очки. Над столом висит тощий календарь, и Семен тянется к нему рукой, приподнимая и не решаясь оторвать серый листок с надписью: "10 октября, суббота ...". То, что следует дальше, Семен давно затвердил наизусть.

На работу идти не хочется, но субботний день всеяет

неясные надежды на вечер и приближает завтрашнее утро. Субботнее ожидание воскресного утра. Последний отблеск померкшего детства оварит его. Но в воскресенье спитя дольше обычного, и ясно к полудню, что день ускользает. Ибо в каждом последующем часе таится беспокойное напоминание о долгой неделе впереди.

"Эх, славно, славно", - вздыхает Семен, заканчивая одеваться. Не снимая очков, он натягивает грубошерстный, хемингуэевский свитер, неопровержимо скрывающий не только худобу, но и сутулость Семена.

За стеной, половину которой составляет беленая известью печь, тетя Шура, хозяйка, уже полчала как приготовила завтрак. На тете Шуре все в мелких цветочках: платье, платок, передник. От этого и от морщин лицо ее кажется рябым, хотя следов оспы на нем нет.

Семен вяло переступает по кухне, руками обламывает хлеб, ковыряет вилкой в картошке, говорит:

- А что, тетя Шура, так вот мы тут вдвоем и скончаемся. Это ведь скоро - умереть.

- Скоро? Не скажи, - вслух думает тетя Шура. - Другой раз помрешь, а потом еще дня три в гробу лежишь.

- Да, да, это верно, - засмеявшись, говорит Семен.

"Вот тебе образ русской женщины", - думает он. - И зачем им Некрасов? Ну, что говорить о нем этим крестьянским детям? Как их кто-то давным-давно изобразил, отобразил, защищая, просвещал, навещал?"

Эта мертвящая монотонность глаголов уже десять лет, как прибой, накатывается на Семена, угоняет его в детство, в блаженный концлагерь, из которого он упорно и тщетно, стыдясь,

убегает в книги.

Как постичь то, что происходит с человеком после четырнадцати, Семен не знает до сих пор.

Семен надевает застиранный плащик "Дружба" (когда-то он был голубым), вынимает из портфеля учебник по русской литературе XIX века, листает его. "Н.А.Некрасов". Семен со вздохом пробегает глазами первые строчки:

"Отец поэта - "угрюмый невежда", "охотник и игрок", жестокий крепостник - вел праздную и бесплодную жизнь, протекавшую "среди пиров, бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства."

"Да, славно получается", - думает Семен засовывая учебник назад в портфель.

Он выходит на улицу и, такой же как дождичек, мутный, никчемный бредет по дороге. Овцы, пытаясь, обгоняют его, шерсть на них свалаялась, обвисла, похожа на обгоревшие фитили. Мокрыми боками овцы мягко трутся о брюки, и они становятся возле колен черными от влаги.

Отнюдь не напоминая Иисуса Христа, и зная об этом, поскольку имя его все же блуждает в голове Семена, он продвигается среди овец и, как в любое из прежних осенних утр, вспоминает, шепчет красивые, не до конца понятные слова.

"Провинция, лангобарды, гуин плен прощайте, анна", - качаются на мертвой зыби памяти поплавки.

"А говорить будем о Ермиле Гирине."

Двухэтажное здание школы грузно темнеет под дождем на высоком берегу Волхова. Школу все называют "красным домом", потому что это единственное кирпичное здание в поселке. Воз-

можно, оно и было когда-нибудь красным, но дети, которые здесь учатся, об этом не помнят.

2

Теперь, когда жизнь ее друзей определилась, Аня Некрасова так и не знает, кто бы из них ее в конце концов не бросил. Разве что Семен. Хотя с ним ведь ничего не было ...

Уже почти год Аня замужем. Но и по отношению к Герману полной уверенности нет, несмотря на то, что Аня поумнела за последние месяцы.

Герман сегодня приезжает из командировки, и Аня спит одна.

Тяжелые, яркие видения проплывают перед ней ночью. В бархатной черноте октябрьского сна появляется лунного цвета древко, и из него, как зубья гребенки, торчат, фосфоресцируя, ножи. Аня шевелится под одеялом, чувствует себя совсем разбитой. Она вздыхает, поворачивается на бок, открывает глаза.

Безмолвная, блеклая заря виднеется в окнах.

Ане так хотелось проснуться беззвучно, недвижно, и чтобы за окнами шел первый снег. В комнате было бы светло, тепло. Нежный озноб после ночи пробежал бы по ее телу.

Но больше всего Аня любит просыпаться ранним прозрачно-синим апрельским утром. Кто-нибудь из приятелей (Игорь. Нет. Лучше всех же Гера) должен при этом лежать рядом в постели, но пока спать ...

Аня берет со столика в изголовьи тахты полученное вечером письмо от Семена, пробегает его глазами. "Вот ты относишься ко мне не хуже, чем даже к Герману, - читает она, - и все же Герман гораздо ближе тебе. Так и всегда будет. Но мы

никогда не станем чужими, а почему — разве я знаю? В это воскресенье я не поеду в Ленинград. Не хочу. Если бы ты меня навестила. Так было бы славно. Здесь все по-прежнему, по-моему, по пустому ..."

"Ах, как жаль Сеньку, как жаль, — с грустным удовольствием думает Аня. — Я бы поехала ... Какие они все-таки тоже несчастные, эти мужчины. Но почему ему не понять, что я живу не с ним?"

Аня встает, стройная, в длинной ночной рубашке, прячет письмо в стол, забирается назад в постель, включает над головой приемник. На средних волнах Москва передает старую запись: голос Михаила Кольцова из осажденного Мадрида.

"

".

Да, звонит. Нетерпеливо и отчетливо. Аня скидывает ночную рубашку и, натягивая халат, всем телом теплая, идет, заранее улыбаясь, открывать.

3

Недвижно голубое небо над застывшей белизной облаков ничего не говорит о возвращении, об осени, о сыром ветре, тяжело веющем вдоль каналов там, внизу, в Ленинграде. Но самолет начинает снижаться, под ним проносятся серые клубящиеся провалы, мелькает какая-то вода. ИЛ-18 заходит на посадку со стороны Финского залива, и город предстает перед Германом как огромный, растасканный по берегу моря, едва тлеющий в утренней дымке, костер.

Герман Поляков, молодой журналист и слегка поэт, не торопясь улыбается самому себе и приветственно зевает.

Самолет приземляется, долго катит по взлетно-посадочной полосе, вырубливает к аэропорту. Пассажиры встают, несмотря

на окрик стюардессы, которой, впрочем, нет уже до них дела.

Общее радостное недовольство передается Герману, он поднимается и снова садится, чтобы глянуть в бортовой иллюминатор. Только через несколько минут стихает гул моторов, последнее мелкое дрожание захватывает самолет, и лопасть винта восклицательным знаком останавливается над крылом.

Скользнув шелковой подкладкой распахнутого мантиля по руке стюардессы, которая невнимательно ему улыбнулась, Герман ступает на трап. Серого сукна английская кепка ни от кого не скрывает его приятного, во многих отношениях приличного лица, с неясным выражением прозрачно-серых, петербургских глаз, и оттенком банальной мужественности из-за тонкого шрама над бровью. Герман легко, словно под аплодисменты, сбегает по ступенькам. Узкая лента встречающих виднеется вдалеке за барьерами, и он, покачивая потрфелем, направляется туда, по залитому асфальтом озеру аэродрома.

Герман Поляков чувствует себя немного иностранцем.

Неоновая надпись "Ленинград", как просвет в тучах, тянется по тусклому фасаду здания аэропорта.

"Нет, брат, это еще не Петербург", - думает Герман, проходя в зал ожидания, похожий на помещение провинциального железнодорожного вокзала. В его дальнем углу свалены грязные мешки, прикрытые сырым брезентом. Да и лица кругом - тоже не блеск. Только здесь Герман ощущает, какое пасмурное сегодня утро. Он покупает газеты и, не зайдя в буфет, ступая по черным гребешкам слякоти на мутном линолиуме пола, выходит к автобусам.

В автобусе, на эскалаторе метро, в поезде и снова на эскалаторе Герман просматривает газеты, неаккуратно сгибая лис-

ты. Плавно неподвижное отражение лица КОММУНИСТ ИОНА ЯКИР, мелькающее в черном, как вода, окне вагона ОЧЕРЕДНОЙ ЗИГЗАГ ГОЛДУОТЕРА, да зыбкий звон в ушах после самолета ГАСТРОЛИ АРТУРА РУБИНШТЕЙНА - и добавочный, никчемный час возвращения ПОСЛАНИЕ Н.С.ХРУЩЕВА ОЛИМПИЙЦАМ, приобретает легкие очертания минуты.

Герман поднимается на Невский с таким ощущением, словно вчера порядочно выпил, радуясь традиционному выигрышу "Зенита" у киевского "Динамо" на своем поле.

Десять лет ежедневно Герман изучает последние полосы газет с сообщениями о спорте. Сам он, окончив школу, бросил и спорт, но таким странным способом он как бы поддерживает юношескую форму.

Герман идет мимо здания городской Думы и, так бывает с похмелья, все то, что он видит: асфальт под ногами милиционера, автомобиль возле костела, чернильный отблеск стекол верхних этажей, - представляется ему ясным и четким, как будто протертым влажной тряпкой.

"Еще минимум полчаса никто не будет знать, что я в городе. А я уже вон где, у пивной. Как невидимка".

И точно. Двери пивной, которую приятели Германа называют "Под Думой", не заперты, хотя до открытия остается часа два. Однако, ни шуплого швейцара с усохшим черепом, ни похожего на Кутузова, с неизлечимо сальной ухмылкой гардеробщика Францыча не видно, и проход внутрь заграждает поставленная на пороге металлическая табуретка. Герман заглядывает в окно, за которым в мягких белых куртках тесно сидят официанты. Они пьют свежее пиво, закусывая вяленным лещом. У них своя компания. Герман им снисходительно завидует. Один, молодой, с американской

стрижкой, хлещет о край стола воблой. Герман знает этого парня. Каждое лето он интересуется поступлением на филфак: спрашивает, есть ли там португальское отделение.

"Для них я сейчас еще не осень", - думает Герман и отходит от пивной, в которую тем временем проскальзывает первый завсегда - неизысканно бородатый и недостаточно молодой литератор Матвей, предтеча кое-какой ленинградской прозы. У него взгляд отупевшего Назарянина, гнилые зубы и удочка в руке.

Но Герман Поляков шагает по Невскому, покачивая портфелем, и не спешит.

"А что? После 56 года открытие этой пивной, пожалуй, первое, чем нас в Ленинграде побаловали. Эпоха открытия Пивных Баров. Подошло бы для Оруэла. Незабываемый 1984. Через двадцать лет. А через десять? Тридцать три набегит мне годка. Возраст Христа. М-да ..."

Работяги в ватниках и просто личности в плохо застегнутых пальто стоят у пивного ларька за Домом Книги.

"Ей богу, если кто из них сегодня и умывался, то в Обводном канале", - думает Герман.

Однако, ничего, становится в очередь.

С нетерпеливым удовольствием он следит, как заполучив свою "большую" пива, жидкого, словно солнце в серенький денек, каждый стоняет вбок эфемерное облако пены, и ее кружева лохмотьями летят на мостовую.

На голубой скамейке под деревьями, которые летом составляют липовую аллею посередине улицы Софьи Перовской, Герман Поляков прихлебывает пиво. Попусту не размышляя, он решает зацепить еще.

Мимо чьего-то плеча Герман просовывает кружку в окно ларь-

ка и ставит ее на влажную желтую губку, туда, где остывает чья-то мелочь. Вялый мат зарождается в недрах очереди, и какой-то утренний рыцарь Невского проспекта тянет Германа за рукав.

- Господа, священное право повторить! - отстраняя чужую руку портфелем, сознавая права, громко говорит Поляков, и очередь утихает, соглашается, что он тоже "наш", только одет по-другому.

"А теперь - по домам", - допивая вторую кружку, убеждается Герман. Да и то: вполне скромные, как полагает он, и нескромные, как уверяет молва, желания манят и торопят его в высокую комнату с низкой тахтой, к Ане, которая и всегда казалась Герману очень красивой.

Так оно, наверное, и есть.

Массивный подъезд набережного дома в стиле "модерн" ничем не напоминает о современности и виден издалека, едва Герман выходит к Неве. Разреженное счастьем одинокое возвращение в этот город последний раз увлекает его не спешить.

Отечная заря плывет над Невой среди туч, в дымах окраин. Пожарная машина несется по пустынной набережной, пронзительно воет сирена. От этого воя, от этой зари, взметнувшись, кружатся в голове обрывки стихов Блока, бледнокаменный Петербург поднимается за серой водой.

И молодой кавалергард, томясь, взбегает на третий этаж.

4

У каждого человека есть неистощимые запасы глупости. Мужчины пытаются исчерпать их, общаясь с женщинами. С женами это удается ...

На первом курсе филфака Герман Поляков услышал фразу:

"Американцы приехали в джипе цвета болотной тины". Утверждали, что подобной ремарки в киносценарии достаточно для поступления во ВГИК.

В первую, незначительную минуту знакомства с Аней Некрасовой, знакомства, после которого нужно при следующей встрече представляться вторично, Германа поразили ее глаза, влажные, "цвета болотной тины", как он немедленно опознал. "Мужчина с такими глазами был бы мерзавцем, — подумал он тогда. — Но женщина!.. "

Аня, в ту университетскую ночь нового 1962 года отнюдь не почувствовала, что встреча с Германом ей "суждена". Наоборот, ожидала она, что "суждено" ей будет другое. Но ей запомнилось, с каким выразительным бесстрашием Герман подсев к их столику, читал те стихи Пастернака, которые не публикуют по причинам политическим, как со справедливым восторгом считают студенты, характера. И ей понравилось, что при всей недвусмысленно ласковой внимательности к женскому полу, Герман с явной охотой ушел продолжить пьянство в сугубо мужском обществе.

Новогодний бал в Павловском дворце поплыл дальше, безмятежно буйный диксиленд сексуально затягивал, а потом сокрушал мотив, люстры погасли, зеркальный шар блестел и вертелся под потолком, стены отступали в темноту, и разноцветные осколки света по кругу полосовали гуляк.

Ночь кончалась судорожно, не ожидая рассвета.

Три года скоро пройдет с той, под вечерними окнами мелькнувшей, зимы.

Но до сих пор Герман Поляков уверен, что "цвет болотной тины" более пристал глазам женщины, чем военному автомобилю.

Сегодня под припухшими Аниными веками Герману чудятся какие-то "болотные огоньки", о которых он, помнится, читал, но, редко бывая за городом, не видел.

Не сняв плаща, он обнимает Аню, и халат ее распахнут.

- Герман, Гера, разденься, - шепчет Аня, розовея, прижимаясь телом к прохладно-грубой ткани плаща.

Тогда молчание опрокидывается на белую постель, и по комнате расплескивается тишина.

.....

- Знаешь, в тот первый вечер ... в ту ночь мне казалось ...

- Тебе ведь и сейчас кажется ...

.....

- Ну, как было в Мурманске?

- В Мурманске было по-разному, - улыбается Герман.

- Повеселился? - по-своему истолковывает улыбку Аня, ибо поэтика Хемингуэя ее никогда не занимала, и только на первых курсах института ей хотелось походить на Брет Эшли.

- Было, - подтверждает он.

- Попил?

- Попил, "занзибарчик". Ты как, пойдешь в свою "рыболоматорию?"

- Да, - вздыхает Аня, - мне давно пора. А что это "занзибарчик?" - спрашивает она, но ее отвлекает другое: непроизвольно и про себя она начинает не то сама произносить, не то слышать слово "зулус", и тут же следом, как-то совсем прозрачно, перед ней всплывает (хотя она и не закрывает глаз) лицо вьетнамца, стажирующегося в их лаборатории, затем лицо "шефа", сорокалетнего доктора наук, который делает вид, что

относится к ней так же, как и ко всем, а потому сегодня непременно спросит, по какой причине она так поздно пришла.

Больше всего в жизни для Ани (и это ощущение пришло вместе со службой) оскорбительно зависеть внешне, не по любви.

"Нет, и Гера никогда не поймет, каково бывает на душе, — вконец расстраивается она. — Поэтому он и сильный. Или просто мужчина?"

И раздражение обратной волной захлестывает ее всю, вместе с тем, что она любит. Но встает Аня тихо, не мешая Герману рассказывать.

- Занзибарчик — это карельский пунш, чай со спиртом, — говорит Герман. — Я там познакомился с парнями из Арктического пароходства. Ездил с ними ловить налимов. Взяли вездеход, спальники и — на озера. Кругом сопки в снегу, антенные мачты торчат. Какой-то не русский, Вологды или Архангельска, север, с лесами, реками, и черными избами по берегам, а вселенский, "современный" север; он, кстати, очень фотогеничен ... Аня, тебе неинтересно?

- Господи, конечно, интересно. Я просто опаздываю, — и дальше про себя. — Ну и самовлюбленность! Он рассказывает, так я что, два часа голая должна перед ним сидеть?

- Впрочем, это все так, внешне, — говорит Герман и, закрывая глаза, вспоминает о главном, о том, как он ночью лежал в спальном мешке, было тепло, и над ним, омывая лицо, плыл низкий ледяной ветер из тундры и раздувал огонь сигареты. Он смотрел вверх, на звезды, на их бессмысленный порядок, в котором только ковш Большой Медведицы казался реальным и оповещал об изначальной щедрости замысла. Жизнь являла себя безмолвной, продолжалась в нем, поднималась вместе с прежним биением серд-

ца, алой пульсацией аорты, тихими токами артерий, она совпадала с течением мысли и растворяла ее в себе, ибо **п о н и м а т ь** было не нужно. Но нужно было **з н а т ь**, и он знал, что в эти минуты жизнь и он сам — одно.

На следующий день они возвращались, когда темнело, и Герман заметил вслух, что Мурманск с сопок похож на горку углей, а его порт — на дымящийся котел супа.

Они расстались, обменявшись адресами.

Герман открывает глаза и поражается тому, каким бессмысленным становится взгляд женщины, когда она красит ресницы.

Аня стоит одетая, в руке зеркальце.

— Слушай, — говорит она, — прокатимся сегодня к Сеньке. Он нас приглашал. Специально будет ждать. В Ленинград не поехал.

— Нет.

— Нет, так нет.

И Аня уходит, спешит по малолодной набережной, легко идет по Невскому, среди толпы, там, где белые чулки уличных модниц напоминают ей об абортах.

5

"Как далеко теперь от меня все. И Аня, конечно, не придет", — думает Семен, ступая по выложенному каменными плитами, которые даже летом не бывают вполне сухими, коридору первого этажа школы. Звук его шагов где-то вверху под сводчатым потолком преобразуется в монотонные всхлипы. Он останавливается у окна и медленно смотрит на кроваво-желтую листву старого клена, на черные вмятины от колес в сырой траве под ним.

"Любовь это или не любовь, но если она придет, то должна ведь остаться ночевать? А дружба, сие священное чувство, коего благородный пламень?.. Что ж, мы скажем ему обо всем. Эх,

если бы обо всем".

И Семен верит в легкую свою любовь, и не помнит, что от удачи он и на этот раз застрахован. Есть тому залог. Правда, и неудачи сейчас бояться не стоит — она "благородно" подразумевается — ведь Аня жена его приятеля, друга, так сказать, детства.

"Когда же и под какими кленами, то есть на какой странице, кончилось это детство, если я с тех пор ничего не нашел. Будь оно ..."

Холодные стекла отражают в это мгновение сумеречную протяжность коридора, и его пустота обрушивается на Семена со спины.

"Ах, какая тоска здесь наступит зимой!"

Передернув плечами, мимо эмалированных табличек на дверях классов, мимо обитой дерматином двери директорского кабинета он проходит в учительскую.

В учительской накурено и тепло, но кроме Саши, физрука, перед которым в пепельнице лежит скомканная пачка "Памира", никого нет. Семен с облегчением здоровается и проходит в угол к полке с журналами. Перелистывая их, он думает, не единственное ли это достижение в его жизни — вместо того, чтобы получать, самому ставить отметки. "Не слишком, впрочем, сложная задача: считать от одного до пяти".

Дребезжание звонка, возникнув в дальнем конце коридора, быстро наполняет пронзительным переливом здание школы и пропадает в стуке хлопающих дверей, визге младшекласников и топоте ног. В учительской преподаватели появляются бесшумно, и только директору школы Игнатию Романовичу Вдовченко, историку, дверь салютует, как бы напоминая о его славном фронтовом прошлом. В

руках у него свернутое в трубу объявление, и с ним он молча подходит к стене.

Для человека сидящего Игнатий Романович, пожалуй, излишне вспыльчив и голубоглаз. Он говорит о себе, что любит "резать правду матушку в глаза", хотя чаще ругает тех, кого в глаза не видел. Он носит фабричного производства серый костюм, пристегивает, перед тем как идти в школу, галстук и давно не надевает никаких военных регалий. Только раз в году, дома перед рождеством, открыв замечательную коробку из-под духов "Белая сирень", он достает круглые медали с профилем Иосифа Сталина и разглядывает их с обеих сторон, не совсем, впрочем, трезвый.

За глаза директора все, в том числе и ученики, зовут, конечно, Романычем, но это никому не мешает побаиваться его официальных речений.

Как пловец, пересекающий широкую реку, он разглаживает двумя руками по стене свое объявление. Его искалеченный на фронте мизинец правой руки крючком вывихнут в сторону и витает над поверхностью листа как легкомысленный вопросик. Этот мизинец всегда привлекает внимание в первую очередь, заставляя не относиться к директору всерьез. Бывший фронтовик с этим в конце концов свыкся. Даже стал иногда добродушен.

"... состоится лекция на тему: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ", - читает объявление Семен и не реагирует никак, потому что с первого дня в школе контакта с директором избегает.

Тогда, перед первым уроком Семена, Романыч сказал ему в своем кабинете:

- Да, знаете, я хотел ... это, ребята у нас простые, а

отчество у Вас, вообще, трудно и произнести. Может для ясности, будем Вас Георгием звать. А то ребята у нас простые, городских слов не знают, им и выговорить такое будет трудно-то ..."

Семен печальными глазами посмотрел на директора, и оба они замолчали.

"Вот, наконец-то! Какая славная простота!" - подумал он и даже улыбнулся, отчего губы его стали плоскими.

- Впрочем, это Ваше личное дело, - заключил беседу директор.

Не только отчество, но и имя Семена, как ни странно, вызвало порой необычную реакцию. В университете его звали Сенькой, а преподаватели почему-то Сашей. Может быть, потому, что на первых курсах он был отличником.

Романыч Семена недолюбливает, как недолюбливает всякого человека, окончившего университет в юности. Кажется ему, что все эти молодые люди получают образование так рано только потому, что отсиделись в тылу, а, возможно, и просто дезертировали, в то время, когда он под Минском из окна, на четверть заполненного водой, по глине, пудами прилипавшей к сапогам, от злости едва не плача, со скоростью пешехода бежал, задыхаясь, в атаку. Конечно, он говорил себе не раз, что этим молодым людям было тогда не больше пяти лет. Но поделать со своим чувством он ничего не может, а мозг его в такие минуты тяжелеет, как будто его заполняют цементом. Больше того: представляется ему, что возраста Семена парни из его поселка под Минском были ...

О школьниках Романыч думать пренебрегает, но любит их за малость.

- Не та теперь мысль у ребят, не та, - говорит он, приков, наконец, объявление. - Нет того размаха, что в наше время. Задаю им сегодня вопрос, какие они знают формы коллективного творчества, чего они только ни нагородили. Один Лихоманов из 10-го "б" ответил как следует.

- А как следует? - спрашивает Саша, физрук.

- То есть как? - удивляется Романч. - Строительство социализма! Да, молодой человек, вот в наше время ...

- Когда сажали, - очень явственно, хотя и не громко, вырывается у Семена.

- Товарищ, ведите себя культурно, - хмурится и багровеет в нарастающей тишине Романч. - Я знаю откуда подобные ветры. Все это, как его ... "Из жизни Ивана Солженицыча". Читали небос? Так еще один всего день описан.

- Читал.

- Так это к теме ваших уроков не относится. И покончим... Друзья! - обращается он к присутствующим так неожиданно звонко, что слегка вздрагивают преподавательницы. - Один наш ответственный работник и товарищ, бывший учитель, уходит на пенсию. Предлагаю подарить ему от имени коллектива школы бюст Ленина. Во весь рост.

- Это мысль, - говорит Саша, физрук.

С чем облегченно и соглашается аудитория.

Когда Семен идет на урок, он чувствует во рту привкус крови. Это ощущение преследует его постоянно и особенно сильно по утрам. Он поднимается во второй этаж и, благо никого рядом нет, сплевывает прямо на каменную ступеньку лестницы. Брезгливо глянув на табачно-розовое пятно, Семен проходит по коридору. Ему немного холодно.

Девочки с первых парт встают, едва Семен открывает дверь. Обитатели дальних скамеек скорее нагибаются, чем поднимаются, и садятся, пока он выдвигает из-за стола стул.

- Садитесь, пожалуйста, - говорит Семен.

Он не различает учеников порознь, а видит всех вместе, вообще.

Рассказывая, он смотрит поверх голов, а когда слушает, то какая разница из какого угла раздаётся громогласный лепет отличника. Впрочем - это известно - на его уроках разговаривают больше, чем на других. Но ведь все так, шепотом. А иногда и о литературе.

- Сегодня заключительный урок по Некрасову, - говорит Семен. - Начнем повторение. О роли Некрасова в литературном движении эпохи расскажет, - Семен смотрит в журнал, - у кого нет отметок: Громыко.

Из-за парты в дальнем углу у окна поднимается блондин призывного возраста с полным ртом в беспорядке натыканных зубов.

- Меня сегодня уже спрашивали, - говорит он.

- Да, его сегодня уже спрашивали, - подтверждают девочки с первых парт.

- Ну и как?

- Два балла, - несколько воодушевляется Громыко.

- Что ж. Кто ответит вместо Громыко?

Семен обводит глазами класс, но ни одного ответного взгляда не встречает.

- Придется Вам, Громыко, - говорит он.

- Некрасова воспитала с одной стороны мать, - потупясь говорит Громыко, - а с другой стороны Белинский ... Великий критик перевернул всю жизнь поэта, направил его на истинный

путь, помог Некрасову найти самого себя ...

Последнюю фразу Громыко говорит невыразительно быстро, и Семен поднимает глаза от журнала. Громыко запинается и трет пальцами лоб, лицемерно изображая процесс мышления.

- Некрасов, - продолжает он неуверенно, - Некрасов ... первый в русской поэзии изобразил ... сравнил ... красоту русского пейзажа ... русской природы ... с пейзажем Запада. Он восклицал ... он восклицал в стихотворении ... в одном стихотворении он воскликнул ...

- Что же он воскликнул? - спрашивает Семен и поворачивается к окну, создавая милостивость своего поведения.

- Некрасов восклицает, - уже более уверенно говорит Громыко, - Все рожь кругом, как степь живая, ни замков, ни полей, ни гор ...

"Господи, неужели я бормотал то же самое? И, в сущности, не так давно ..."

Неслышимый дождь за окном падает куда-то далеко вниз, в какую-то серую пустоту.

- Сторонники "искусства для искусства", - слышит Семен как бы из-за стены, - в частности современник Некрасова Тютчев, утверждал, что поэзия должна примирять людей с уродствами жизни ...

"Это еще кто чей современник?" - с неожиданной злобой думает Семен и, не отворачиваясь от окна, говорит:

"Громыко, закройте учебник и ответьте на вопрос: Гражданская это или не гражданская позиция "примирять людей с уродствами жизни?"

- Негражданская.

- Почему?

- Потому что "искусство для искусства".

- Где же тут "искусство для искусства", если надо п р и -
м и р я т ь с "уродствами жизни?"

- Понял.

- Что Вы поняли?

- Что гражданская.

- В чем же тогда своеобразие Некрасова?

- Он верил в светлое будущее, а эти нет, были пессимиста-
ми, воспевали тоску.

- Ладно, Громыко, садитесь. Сегодня я Вам не поставлю ни-
чего. А в светлое будущее, - говорит он, забывая о Громыке, гля-
дя поверх голов, - верили тогда все поэты. Только по-разному
его понимали. Может быть, Лермонтов не верил ... Но тосковали
все. С т о с к и и начинается гражданский поэт. Тоска,
вырываясь наружу, становится яростью. Творческой яростью.

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей.

Вот, что дал русской поэзии Некрасов. Это стержень его
творчества. И он первый поэт с таким стержнем. Для русской по-
эзии это стало непреходящим. Тем, что не выветривается со време-
нем. Александр Блок сказал однажды: "Любовь к родине, любовь к
ее будущему всегда подразумевает ту или иную долю священной не-
нависти к ее прошедшему и настоящему." Блок не "пересказывал"
Некрасова. Это его собственные мысли. Но здесь осуществилась
п о д з е м н а я связь, которая соединяет Некрасова с каждым
настоящим поэтом, пришедшим после него ...

- А есть и прямая, рациональная связь, - опускает глаза, -
говорит Семен. Он встает, машинально начинает рассказывать перед
партами, останавливается у окна.

- Вы ее поймете. Сразу:

"Те же росы, откосы, туманы,
Над бурьянами рдяный восход,
Холодеющий шелест поляны,
Голодающий, бедный народ ..."

- Андрей Белый, поэт ...

Семен оглядывается на класс и неожиданно замечает слезы в глазах девочек с первых парт, которые решает "запомнить на всю жизнь".

Он вновь отворачивается к окну и долго смотрит на Волхов, на нежную муть реки под дождем.

Он знает о рябинах на противоположном берегу и о том, что когда-то Волхов был великой рекой.

А жил на ней Державин.

6

"Все-таки, куда лучше лежать с женщиной в будний день, когда все работают, чем в выходной. Почему бы это?" - размышляет Герман в теплом полусне ...

Ах, не надо отвечать на такие вопросы ...

... В шестом часу вечера, торопясь на электричку, вместе с Аней и Семеном вбегает на платформу Витебского вокзала. Прокочив мимо последнего вагона, внутри которого бродят трое, оказывается в следующем, пустом, садится в углу, вскакивает, смотрит из тамбура. Перрон безлюден.

"Странно. Ведь сегодня суббота".

Возле дверей стоит человек в серой железнодорожной форме с бескровным раскосым лицом. Явно кого-то ожидает.

Подходит Семен.

- Садись на мое место, а я ее подожду.

Семен молча выбирает тот же самый, наподобие скважины, угол. Вдоль последнего вагона назад. Ани нигде не видно, Оборачивается. Через перрон проскакивают двое в серой форме, и двери быстро и бесшумно закрываются заними.

С ужасом понимает: Аня в поезде.

Раскосый ухмыляется за ветровым стеклом, показывает на вокзальные часы. По расписанию электричка ушла две минуты тому назад.

"Быстрее. Остановить. Вандиты.

И ни души ... ни души ... Не души!..

Лишь со всеми своими проводами, всеми черными проводами нависают сумерки, и поезд ускользает под ними, вытягивая полетно из-под ног.

Летящими шагами вслед, вослед, след в след.

Прыгает, уцепился, прикикает к обшивке вагона. Сразу же нарастает скорость и ясно — не соскочить. Нет уже пригорода, нет станций, не видно ни домов, ни полей. Не видно земли. Воздух разрывается на серые полосы, на ленты, на нити, перестает быть осязательным, все больше и больше разжижается в прозрачно-ледяном. Тогда в вагоне слышится простой без акцента голос:

- в ы б р о с и т ь и з о к н а п р е д м е т п о -
л е г ч е - в д о л ь - е г о и с ш и б е т .

Черная дыра появляется впереди: туннель.

"И никогда не вернешься".

Черный свет брызжет навстречу, нарастает беззвучной лавиной. Она стремительно наплывает, разветриваясь в полете, и ... саатиновые мужские трусы залепают ужасом открытые глаза.

Герман сбрасывает с себя одеяло в холодном поту.

И сразу же ему — душно.

Он вскакивает, открывает форточку. Редкий дождь идет за окном. Струйки с деревянным звуком скатываются по цинку водосточной трубы. Переполненный речной трамвайчик стоит у причала.

Герман подходит к телефону, набирает номер.

- Аня? Ты предлагала поехать к Сеньке. Поехали ... Да, да! На вокзале. Сразу же.

- Ну и жизнь, - бормочет он, одеваясь, - ни на кого нельзя положиться. Даже на самого себя.

Это его веселит, и из квартиры он уходит в раздраженном воодушевлении.

Напевая, благо рядом никого нет, изрядную песенку "Здравствуй, Зоя", по широким каменным ступеням широкой лестницы он - та-рим-пара-ра-ойя - вытанцовывает на мокрый тротуар.

7

В розовом шерстяном костюме и в туфлях на низких каблучках Аня Некрасова чувствует себя уверенно элегантно даже в плаще, который - она это знает - в городе не единственный.

Из лаборатории она выходит на Малую Садовую, по которой вечно снует народ, придавая этой улице сходство с базарной площадью. Поколебавшись, не выпить ли в Кулинарии кофе, издали улыбнувшись памятнику императрице ("Что это там она держит в ручке?"), Аня решает изменить ставший привычным маршрут.

"Пускай Екатерина с поклонниками присматривает за всеми этими фарцовщиками. На то она и Великая. А современная красивая женщина должна оставаться раз в день со своими мыслями одна. Хотя бы для того, чтобы они у нее появились. Кажется, так недавно выразился наш муж. В прошлом году он бы этого не сказал. Но он прав. Каждый вечер - полчаса свободы. Все-таки хо-

рошо, что я пришла тогда. Хоть он и не был трезв.

- Приходите, Аня, - вспоминает она прошлогодний голос Германа, их первый телефонный разговор. - На улице тепло, как в оранжерее. Цветут розы! Понимаете - в середине октября!

- Это у Вас в мозгу цветут розы, - ответила она.

И пришла.

Воздух был таким густым от осеннего тепла, что почти казался голубым. А если бы у него действительно случились розы, она оставила бы его у себя в тот же вечер.^I

Было это ровно год назад. У высокой глухой стены между портиком и манежем в маленьком садике, таком маленьком, что в нем можно лишь покурить, он уговаривал ее хлебнуть из уже наполовину пустой бутылки рябины на коньяке и уверял, что они во Флоренции. Ритуально исполненный обряд приставания не привел ни к чему, но вела она себя при этом на удивление терпеливо и внимательно.

"В самом деле, ведь это что-то итальянское: портик Руска, манеж Бренна, за Фонтанкой - Кваренги. Если только все итальянцы" - думает Аня.

Но имена мертвых ничего не значат для молодых женщин, и лишь стебли плеща, или дикого винограда (автор не ботаник), сползающие по стене темно и извилисто, как трещины, могли бы придать старомодно блаженный смысл всему, что случилось. Но еще со времен первой своей любви Аня отличалась рассеянностью и к тому же была близорука.

Заметный на фоне стены дождь падает сейчас на прошлогодний садик, и Аня проходит мимо него и мимо сквера в конце пло-

^I Впрочем, это и так произошло достаточно быстро: мы не успели даже перейти на "ты". (Прим. Ани Некрасовой).

щади, где неживописные ленинградские подростки ("вездесущие мальчишки", как говаривал, непристойно запинаясь на звуке "с", один бывший Анин приятель) играют между скамейками в футбол сырым волейбольным мячом.

Ане все еще приятно идти одной. Хотя она и замечает с удовольствием, как голубой провинциал в распахнутом плаще, едва не зацепившись за бампер победы, перебежал дорогу, успевает оглянуться на нее ("Бедный славный мальчик!").

И благо никого рядом нет, Аня свернув к Невскому, на серой улице без газонов и деревьев думает о том, что и с Герой у нее все будет хорошо. Ведь она честна, и он тоже ... плут, и вкусы у них совпадают (по крайней мере ночью), и, вообще, теперь, даст бог, она не окажется в тридцать лет одна. В конце концов, это не так уж мало - состариться вместе.

"Эх, мама! Все будет хорошо. Даже если ничего хорошего не будет".

Так она и идет по Караванной мимо пустых холодных подворотен. Филлического вида гранитные столбики у стен в который раз привлекают ее внимание. Их назначение было загадкой для Ани всю жизнь.

Пустой говорок, сырой пар стремительной толпы проспекта, желтые листья на решетке люка (вот подплывает следующий), блуждание синих троллейбусов, тусклый блеск клодтовских коней,^I привычная, незаметная высота моста. Ане всегда казалось ско-

^I Парадоксальный случай умаления Человека перед Животным. В клодтовской группе на Аничковом мосту везде присутствует Человек. Идея скульптора - укрощение Человеком стихии. Однако, все, в том числе и наш автор, говорят почему-то о клодовских "конях". (Прим. критика).

бизмом не любить Невский, как это случилось со многими ее прежними друзьями, апологетами Васильевского острова или Петроградской стороны. Идти по Невскому для Ани — это означает быть свободной.

.....

Какой-то хаос вершится в это время над городом. Не то темные облака, не то светлые тучи, не то все это попеременно, грудями движется по направлению к заливу, а там, на западе, время от времени прощально обнажается голубое небо. И непонятно — идет дождь или нет.

8

Германа Полякова после университета послали в газету, а не в школу, но он не считал, что ему повезло. Зато так считали его соученики. А это приятно. Поэтому, можно полагать, ему повезло. Как и всегда в жизни. Как и сегодня в кафе-автомате на углу Невского и Рубинштейна. Во всяком случае автор с удовольствием опишет следующую сценку, не будучи, между прочим, ни Зощенкой, ни приверженцем школы какого-нибудь там "физиологического очерка". Боюсь только, что потом он немножко взгруснет — ведь ему самому вряд ли удавалось когда-нибудь снисходить так живо до маленьких пралестей бытия, как его героям.

На пути к вокзалу Герман заходит перекусить, съесть всего-навсего сосиски с капустой, которые ему нравятся именно в этом кафе (трогательная привязанность к воспоминаниям детства: здесь когда-то Гера первый раз получил свою первую порцию самостоятельно, без помощи взрослых).

Вообще-то, местечно не ахти. Когда бы не зашел, хочется спросить: который час? Такое ощущение, что время здесь бывает

только позднее. Даже в очереди, стоишь себе, казалось бы, так нет — опять какая-то спешка. А все, наверное, от освещения, очень тусклого, всегда электрического. да еще из-за горчицы в граненых стаканах по столам.

Однако, парня в лондонке явно ничто не удручало ни в кафе, ни в жизни, когда он продвигался в конец очереди, еще издали радостно улыбаясь тому, за кем нужно встать.

"Какой замечательный человек, — думает Герман, — ботинки хорошие, австрийские, вид — плохой, русский ... Интересно, как он спросит: кто последний, или кто крайний?"

— Маленькую пить будем? — спрашивает, взамен всего, Германа парень, как знакомого.

— Нет, — говорит Гера, — выпьем пива.

— Бегу.

— Давай твой чек. Тебе с чем?

— Как себе, — кричит парень уже от пивной стойки, — с капустой.

— Лады.

Не выпуская кружек из рук, парень локтями расчищает от посуды место на столе. Так что пока не уберут, никому рядом не поместиться. Герман понимает маневр и сосиски помещает напротив: и с этой стороны тоже вроде бы занято.

— Понимаешь ли, — говорит он начиная, — я только что из Мурманска ...

— Я там был, — кивает парень. — На полуострове Ямал. Получал двести восемьдесят. Сейчас сто пятьдесят. Чуть не замерз однажды. Бля буду. Шел ночью в поселок. На лучи прожекторов. Прямо в небо светили. А если бы не шел, то замерз бы.

— Ясное дело, — говорит Гера, — будем еще по одной.

- Между прочим, - говорит парень, - кирять можно каждый день.

- Ага, - говорит Гера, - я еще сегодня кирну.

- Ага, - говорит парень, - прорвемся. Я за всю службу на имел недоразумений по вопросу пьянки ...

Не торопясь, они опрокидывают по второй и молча едят сосиски. Молча, но понимая друг друга.

- Так маленькую не будем пить? - говорит парень, поев.

- Нет, - говорит Гера.

- Тогда я, между прочим, пошел.

- Ну, будь, - говорит Гера.

- Пока, - говорит парень.

- Пока, - говорит Гера.

Пока.

.....

Нет веточек. Нет веточек на Московском вокзале, вот беда. Под деревом он выглядел бы живописней, этот небритый субъект, каких обычно описывают простодушные беллетристы. Свои набитые опилками попугайных расцветок мячики на гнилых чулочных резинках он мог бы развесить вокруг себя, а не держать их, как нищий, перекинутыми через протянутую руку.

- Ленинградский раскидайчик! Красиво ребятам! - кричит он редко и отрывисто, косясь на Аню, стоящую рядом под тем же самым несуществующим что-то деревом.

- Четверть века живу на белом свете, - говорит она появившемуся Герману, - и впервые встречаюсь с таким оболтусом, как ты. На сколько же можно опаздывать?

- Ничего на этом свете белого не вижу. Сама посмотри. Серым-серо. И каплет.

- О господи, опять твое пиво! Пойди хоть билеты возьми.

- Взял уже. И выпивку тоже.

- А можно я тогда напьюсь?

- Не надо, Аня, что за глупости. Подумаешь опоздал.

- Ладно. Пройдем ближе к паровозу. Мне нравится его слышать, когда едешь. И даже гарь. Если не в глаза ...

Стоит уехать куда-нибудь к вечеру, как за окном моментально стемнеет. Мчишься ты, что ли к этой темноте? Плавно и сильно, как налетевший шум дождя у острова Мальорка, стремится их поезд на Волховстрой. Прелюдия капель возникает внезапно под стук колес и обрывается как порыв ветра. Близкий багрово-серый горизонт окраины проступает за окном. Свет, подрагивая, зажигается в вагоне. И тогда можно смотреть на стекло с изображением потемневшей желтой лакированной коробочки купе, в которой тебя нет, хотя ты и разглядываешь чужой, любимый профиль. А можно снова смотреть сквозь стекло на разлетающиеся рельсы полотна, на яркую рекламу уже дальних проспектов.

Сады, вода появляются за окном, старая проселочная дорога с лужами и травой ниоткуда сворачивает к насыпи. Вместе с поездом она мчится и замедляет свой бег, останавливаясь внизу под липами, даже птицам ненужной аллеей. По сентиментальным законам предместья ее копирует партнерша по другую сторону платформы с надписью ФАРФОРОВСКИЙ ПОСТ. На перроне, в размазанном сумерками свете двух фонарей рядом с пустой скамейкой неловко стоит человек, долгий час ожидая несчастья. Мокрые веточки нежно блестят за железной решеткой ограды, а за ними, как в чужой стране, незыблемы и голубоваты очертания потемневших от времени и гари двухэтажных кирпичных домов.

- Вот в таком пригороде, с таким названием должен жить молодой, никому неизвестный гениальный прозаик, - говорит Герман, - Но в пригородах вечно ждут чего-то.

- Это было бы замечательно.

Плавный толчок перекатывается от вагона к вагону, и поезд уходит дальше. Неловкий человек поднимает глаза. В недоумении и тоске он провожает взглядом три хвостовых огня.

Зимой уедем мы в вагоне розовом и скромном среди подушек голубых.

- А ты сам бы хотел жить здесь?

- Нет, нет, что ты!

Аня улыбается, и Герман смотрит на ее худые, милые губы, проводит рукой по колену и выше ...

- Слушай, почему всем мужчинам так мало надо?

- Что значит - всем?

- Ну, тебе, тебе ... Как дети - лишь бы потрогать.

- Если тебе неприятно ...

- Нет, почему же. Но ведь мы уже, слава богу, женаты.

- Да, слава богу, - говорит Герман, и весь пыл его исчезает.

"Ах, это ничего", - думает Аня мягко, с отчасти культивируемой, а потому приятной утомленностью женщины, вышедшей замуж недавно.

Поезд идет высоко по насыпи мимо поселка, который кажется почему-то очень далеким. неподвижное пятно света от электрической лампочки на высоком деревянном столбе проплывает где-то внизу. Как странно ее сияние, не достигающее земли! Какие ут-

лые деревья, палисадники, дома без огней! Как, быстрее, чем в перспективе, сужается немощеная улица с тропинками вдоль заборов! Как не хочется ставить восклицательных знаков — ни коровы нигде, ни пьяного, ни собачонки!

Так в оконные рамы случайного, но со строгим графиком, поезда смотрит XIX век, затемненный, с голубым движением внутри. Но и этот пейзаж заштриховывают елочки, а потом он совсем чернеет и навсегда уходит назад. Как и на самом деле навсегда ушло от всех нас прошлое столетие.

9

"Ныне, когда в нашей стране восстановлены правда и справедливость, восстановлено и доброе имя Раскольникова", — читает Семен, входя в свою комнату с развернутой газетой.

"Так, так. Славное начало. Чей-то, кажется, был муж", — думает он, пока ему не удастся, предварительно измяв, соединить листы (прижатый локтем к боку портфель выскользывает на пол).

Он ложится на кушетку. У тети Шуры за стеной становятся слишком ходики. "Ты-кто, ты-кто, ты-кто", — выстукивают они. Какие-то русские мысли теснятся в голове: "Пошли они все ... Выпить, что ли ... В кино бы пойти с буфетчицей ... А потом..."

Потом он садится, снимает очки, надавливает косточками пальцев на глаза. В таком положении, ссутулясь, упершись локтями в колени, он сидит долго, пытаюсь об Ане не думать, а только произносить ее имя.

"Конечно, не приедет, — говорит он себе, — конечно, не приедет. Зачем ей ко мне приезжать? А приедет, так с Герунди-

дием. Тоже мне, "голубой герой".

"Все они карьеристы. И ничего не могут", - думает он о своих университетских приятелях, общества которых, напоминавшего ему тонущий корабль, он бежал первым.

"Ну, положим, Гера не карьерист. И - может. Но неужели она - для него? Нет, нет, нельзя же так, господи".

Семен в каком-то тоскливом возбуждении начинает бродить по комнате, но вскоре останавливается у окна. Лужица среди травы привлекает его внимание, и он без всякого смысла рассматривает ее, поникнув, словно квяточек в мутной воде.

Впрочем, пора покурить. Читателю тоже. Ничего, собственно, не произошло. И вряд ли, что-нибудь случится. Так - кризис чувств. Вибрация темных струн солнечного сплетения. Мир беспокойной тоски. Мир субботы. Мир одного вечера.

Сигаретка летит в лужицу за окном. Как не помнить Семену то чудное мгновение, когда она, сокровенно шепнув что-то в воде, гаснет. Всего лишь один жест, и как решительно и просто за ним приходит покой.

Пальцы перебирают книги на столе, пристраивают их ровной пирамидой в углу, ближе к стенке. Сверху оказывается миниатюрное, только что вышедшее с иллюстрациями Фаворского, издание "Новой жизни". Ее глянцевая суперобложка источает какой-то сладковатый, кремоватый, южный аромат. Он так нежно обволакивает алые и белые тона, явленные у Данте, что Семену жаль становится открывать книгу, и он подбирает с пола газеты, посмотреть, что же все-таки творится там, не у нас. Но и на Западе, видно, осень. "Хмурое небо, если судить по сводкам погоды парижской печати, - читает он, - висит над районом замка Малагар. Франсуа Мориак пишет "Блокноты" и читает

верстку "Де Голля".

"Да, славный, мать его так, славный стилист, " - размышляет по этому поводу Семен.

В нечистых сероватых сумерках за окном становится различим свет горевших весь день фонарей. Порыв ветра сметает с деревьев на дорогу лавину листьев. Тяжело и косо они скользят к земле. Вершущка березы в палисаднике совсем обнажена и кажется Семену какой-то скрюченной лапой. Да и сама береза похожа на опрокинувшуюся птицу, мертвые желтые перья которой раздуваются ветром. Фонарный столб рядом с ней неподвижен и громоздок. А жестянка с лампочкой на нем раскачивается монотонно и не в такт ветру.

10

Стучит калитка, знакомый мужской голос слышен в палисаднике, и Семен чувствует, что Аня - здесь. Стучит в висках, медленно опускается сердце, кровь приливает к щекам, некуда деться ... Он подходит к столу, к книгам, поворачивается к двери спиной.

- Сеня, гости к тебе, - слышит он в своей комнате голос тети Шуры.

- Гостьев, говорю, принимай. Али что? - с явным любопытством спрашивает она.

- Здравствуй, Сеня, - ясно и негромко доносится через открытую дверь из полутемноты. - Привет!

- Как славно, что вы приехали ...

- Так пройти-то хоть можно? - говорит Герман, войдя и повернувшись к Ане, которой подает руку, чтобы она не споткнулась о порог.

- О, господи! Тетя Шура, они тут у меня ...

- Да как, ведь, хочешь, - говорит тетя Шура. - В погреб что ли слазить? Принесу чего.

- А мы с собой захватили, - говорит Герман. - Разве что-то солоненьких огурцев?

- Слава богу, зайцы перевелись, - говорит Семен. - Тетя Шура, как лучше сказать: огурцев или огурцов?

- А бес его знает.

- Теперь велят - орущей.

- Огурцев, так огурцев. Есть маленько, - говорит она и, наконец, уходит.

- Располагайтесь, я сейчас, - говорит Семен и убегает вслед.

Огурцы, грибы, сало, лук ему очень хочется принести самому как натуральному поселянину. И чтобы не было никакой колбасы, консервов, ничего "городского". Он даже просит тетю Шуру, чтобы картошку она принесла потом прямо в чугуне (тщетные ожидания: она принесет ее в глубокой тарелке).

- Ну, как было в Мурманске? - спрашивает Семен у Германа, возвратясь.

- В Мурманске было по-разному, - говорит Герман, не задумываясь, - фольга - цвет севера.

- А это еще откуда?

- Так, наблюдение Паустовского. Ну, а как твоя жизнь?

- В гробу я видел эту мою жизнь, - очень искренне говорит Семен, и они все втроем смеются.

Но по-настоящему Герман веселится только тогда, когда они садятся за придвинутый к кушетке стол, и колебания, ставить или не ставить водку для охлаждения в ведро с водой, решаются в его пользу: ставить прямо на стол. Потому что день без выпивки для

Германа - все равно, что органнй концерт без Баха.

- Жаль, нет еще цветов на столе - ко всем сельским престям, - говорит Аня.

- А какие цветы ты любишь? - спрашивает Семен.

- Ирисы. А вообще-то розы.

- Да, ирисы, - говорит Семен, хотя в ирисах ему, пожалуй, больше всего нравится ударение на первом слоге.

- А нельзя у твоих соседей попросить сорвать две-три астры?

- Вообще-то можно.

- Аня, никогда ни у кого ничего не надо просить. Даже в шутку. Никто таких шуток не понимает. Давайте лучше придвинем к столу фйкус.

- Вечеринка "Под фйкусом". Это славно.

- И антивалентно.

- Так тащите его сюда, - говорит Аня, - мне нравится уют с пошловатым оттенком.

- В выпивке, Аня, ничего пошлого не бывает.

- В выпивке без женщин - возможно.

- Ты все-таки умница, - восхищенно говорит Герман.

Кадка с большим, до потолка, фйкусом, перетаскивается из угла комнаты к столу, отгораживая его от двери. Противоположный край стола ограничивает темное, холодновато лоснящееся от электрического света, оконное стекло. Аня с Германом размещаются на кушетке, а Семен садится на табуретку перед ними.

- Если бы я был художником, - говорит Семен, - то стал бы сентиментальным примитивистом и написал бы даму в розовом под деревом юга.

- Прекрасный повод выпить по одной. За нашу розовую даму, - говорит Герман. - Ты с этим фикусом, действительно, как на картинке Руссо. А вместе с Саней вас должен был бы изобразить Шагал. Ты б у него в этой избе парила.

- Я и так парю.

- Так воспарим втроем.

Герман берет бутылку и, как всегда в такие мгновения, чуть-чуть отключается.

Чудно и тихо застолье, когда за окном осень. Беззвучно отделяет от сала нежно розовые лепестки нож. В томном измеможения распластались на тарелке соленые грузди. Перламутровы и жемчужим кружки репчатого лука. Прохладой веет от острых граней нарезанных дольками огурцов. Из какой солнечной лужицы торчат детские шляпки маринованных грибов! Как трогательно хотят прикрыть свои девственные прелести мусором смородиновых листьев и укропа малосольные огурчики! Как драгоценно сверкают вкрапления клоквы в глубинах золотой россыпи квашеной капусты!

Сам автор с удовольствием присоединился бы к этой вечеринке, но его герои не любят проводить время с незнакомыми им людьми.

- А что слышно об Андрее и Кирилле? Обо всех знаю, только о них - ничего, - говорит Семен.

- Знаешь, получается, что мы, вроде, следим друг за другом - кто чего достиг, - говорит Герман.

- Ни за кем я не слежу.

- Ну и отлично. Давай тогда сразу же по второй.

- Я припущу, - говорит Аня.

- Появится в городе - сами нас найдут.

С присущей людям ограниченностью Герман до сих пор не

понимает, что добрая половина его знакомых прекрасно может обойтись и без него.

- Как тебе нравится мое жилье? - спрашивает Семен Аню после тщетных попыток придумать, о чем бы с ней поразговаривать.

- Очень нравится. По-моему, за зиму ты здесь в уединении должен что-нибудь написать.

- Я уже написал, сонет. С десятого класса не писал стихов, а тут как-то ...

- Прочитаешь?

- Да, я хотел.

- Видишь. Еще жаловался на жизнь, - говорит Герман, закусывая, - а у самого тут болдинская осень.

- Между прочим, ровно сто сорок лет тому назад, десятого октября, Пушкин закончил в Михайловском "Цыган".

- По старому стилю, Сеня.

- По старому ли, по новому, конец все один до сих пор.

Это точно. Немедленно по этому случаю выпьем.

- А твой сонет ничего?

- Мне нравится, - говорит Семен.

- Тогда салют!

На этот раз не только Гера, но и Аня с Сеней выпивают хорошо, тепло, незаметив.

- Так мы слушаем, - говорит Герман.

- Сейчас:

Плывет закат. За городом проспект
Пропал, и ельник зеленеет нежен,
И воздух паутинами разрежен,
Ручья быстрее туч осенних бег.

На полустанке муторном калек
Хотелось бы представить: неизбежен
Контраст в сонете. Поневоле грешен
Поэт. И одинок его ночлег.

Но сердце стукнет в утлой полумгле
Под небом, серым голубой земле,
Где будущим предание багримо ...

В покинутом татарами Кремле
Полныи запах и мужского грима ...

В предместьи он бредит третьим Римом.

- Слушай, может, ты и на самом деле поэт? - после паузы говорит Герман, то, что ему подумалось еще во время чтения.

- Мне очень понравилось, - говорит Аня, - особенно начало. Потом я не все поняла.

- Да, есть сложности, - говорит Герман. - Что, кстати, означает: "серо небо голубой земле?" Разве не наоборот?

- Не знаю. Большая часть планеты покрыта водой. Потом в сумерках вообще в ней есть что-то голубоватое. А осеннее небо бывает такое холодное, серое. Да и в символическом отношении для земли, полной жизни, преданий, надежд (!), небо может казаться каким-то скучным, нетеплым что-ли.^I

^I Фразу "Под небом, серым голубой земле" вставил в сонет Семена автор. Ему нужно было акцентировать внимание читателя на серых и голубых тонах произведения. Несколько странно, что Семен все-таки пытается объяснить то, чего сам не писал. Он мог бы просто восстановить свою строку, а не следовать воле неизвестного ему человека.

Но обо всем незнакомом Семен привык думать высоко: вдруг тайна и кладезь премудрости - там (Прим. автора).

- А-а-а! В этом смысле. Возможно. Для полной ясности -
выпьем. Впрочем - "надо гениальничать", как сказал Пастернак.

- Но писал: "Быть знаменитым некрасиво".

- А дальше? "Не это поднимает ввысь". Следовательно, про-
сто более тонкий вид тщеславия, еще большая гордыня гения.
Ввысь-то все-таки хочется.

- Мне - нет, - говорит Семен.

- Разумеется, синица у тебя уже в руках. Она - синяя.
Журавль же в небе - серый.

- Я с детства об этом думал. И по-своему согласен: лучше
синица в небе, чем журавль в руках. Мне всегда казалось: если
поймать журавля, он своим длинным клювом непременно долбанет
меня в глаз.

- Ничего забота, - говорит Герман. - Зальет полетом у жи-
поводу шары? Интересно, однако, у меня тоже есть предчувствие
о глазе. На Невском, в толпе, под дождичком мне его выколоту-
спицей раскрытого зонтика. Совершенно спокойно. Какая-нибудь
дамочка.

- Никогда не думала, что и у тебя есть комплексы, - го-
ворит Аня.

- Это плохо? Германа и Семена в свой раздумный куток, за

которым - Нет, нет, что ты, - смущается она.

Теперь на нас подвиги с печалью
глядят бревенчатые стены. Мы
брать претради не обещали, мы думаем
будем гибнуть откровенно.

- Гера, а как тебе все-таки показался мой сонет? - спра-
шивает Семен.

- Сказать правду? что мы опять собираемся вместе", - ду-

мает Аня.

Семен нащупывает рукой на стене календарь, отрывает листок и подносит его к пламени свечи. "10 октября. Суббота. Восход. Заход. Долгота дня. Восход. Заход". Нежно-серые хлопья пепла.

Аня, устроившись за спиной Германа, уже спит. Ей снится летний парк, аллея, и там, впереди, за солнечной зеленью деревьев, молочный блеск воздуха над водой. Это - Нева, и вдоль правого берега ее течение направлено вниз, к Финскому заливу, а вдоль левого - вверх, к Ладожскому озеру.

- Еще осталась маленькая, - говорит Герману Семен. - Давай выпьем.

- Давай. Все-таки настоящая пьянка должна проходить без женщин.

Семен берет с пола бутылку, встает и, торжественно качнувшись в сторону Германа, который старается сидеть очень прямо, разливает ее в стаканы.

.

Пять лет тому назад погасла свеча, на мгновение озарившая эту идиллию. Она напомнила автору с детства знакомый пейзаж: кривую сосну над Кагульским обелиском в Екатерининском парке города Пушкина. Но это уже для тех, кто когда-нибудь знал, знает, или захочет узнать, что такое Царское Село.